

Пешковский Александр Матвеевич (1878—1933) — талантливый советский языковед и методист. Профессор.

А. М. Пешковский окончил естественное отделение Берлинского университета и историко-филологический факультет Московского университета. Педагогическую деятельность начал в 1906 г. в качестве учителя словесности. Затем преподавал в высших учебных заведениях Москвы и Екатеринослава (ныне Днепропетровск). Разрабатывая в своих трудах грамматику современного русского литературного языка, А. М. Пешковский уделял особое внимание методике преподавания языка в школе. Он больше, чем кто-либо другой, сделал для преодоления разрыва между научной и школьной грамматикой. Работы А. М. Пешковского отличаются не только тонкостью лингвистических наблюдений и восходящим к школе Ф. Ф. Фортунатова стремлением к строгой системности описания, но и необычайной популярностью изложения: они написаны в расчете на широкую аудиторию учителей-словесников. Назовем здесь для примера его книгу «Наш язык» в трех выпусках (1922—1927). Вместе с тем исследования А. М. Пешковского во многом способствовали развитию лингвистической теории, особенно в области синтаксиса и интонации. Центральное место в синтаксической концепции ученого занимают понятия формы слова и формы словосочетания. Однако такой «морфологизм» приводил к недооценке предложения как самостоятельной и основной единицы синтаксиса и, как указывал В. В. Виноградов, препятствовал построению цельной грамматической теории. Основной, широко известный труд А. М. Пешковского — «Русский синтаксис в научном освещении» (1914) — многократно переиздавался, последнее, 7-е издание вышло в 1956 г. В 1959 г. изданы «Избранные труды» А. М. Пешковского в одном томе. В этой же книге помещен очерк жизни и творчества ученого, а также список его работ.

Объективная и нормативная точка зрения на язык *

Объективной точкой зрения на предмет следует считать такую точку зрения, при которой эмоциональное и волевое отношение к предмету совершенно отсутствует, а присутствует только одно отношение — *познавательное*. Ни чувство, ни воля, конечно, не исчезают при этом, но они как бы переливаются целиком в познание. Человек не хочет ничего от изучаемого предмета ни для себя, ни для других, а он хочет только его познать. Он не испытывает от него самого ни удовольствия, ни неудовольствия, а испытывает только величайшее удовольствие от его познания. Так как эмоционально-волевое отношение тесно связано с оценкой предмета, то отсутствие *оценки* — первый признак объективного рассмотрения предмета.

* В кн.: А. М. Пешковский. Сборник статей. Методика родного языка. Лингвистика. Стилистика. Поэтика. Л.—М., 1925.

Такова точка зрения наук математических и естественных. Понятия прогресса и совершенства абсолютно невозможны в математических науках. В естественных науках они, правда, уже имеют применение, но в чисто эволюционном смысле. Когда говорят, что цветковые растения совершеннее папоротников, папоротники совершеннее лиственных мхов и т. д., то имеют в виду только то, что первые *сложнее* вторых, что в них части (органы и клетки) более *дифференцированы*, а никак не то, что первые в каком-либо отношении *лучше* вторых.

Если подходить к науке о языке с этим различием субъективного и объективного, то языковедение окажется наукой не гуманитарной, а *естественной*. Понятие языкового прогресса в нем целиком заменяется понятием языковой эволюции. Если в начальном периоде нашей науки и были оживленные споры о преимуществах тех или иных языков или групп языков друг перед другом (например, синтетических перед аналитическими), то в настоящее время эти споры приумолкли¹. Совершенно так же, как зоолог и ботаник в конце концов вынуждены признать *каждое* животное и растение совершенством в своем роде, в смысле идеального приспособления к окружающей среде, так же и современный лингвист признает каждый язык совершенным применительно к тому национальному духу, который в нем выразился. И не только к целым языкам, но и к отдельным языковым фактам лингвист, как таковой, может относиться в настоящее время только объективно-познавателью. Для него нет в *процессе изучения* (заранее подчеркиваю это условие в виду всего последующего) ни «правильного» и «неправильного» в языке, ни «красивого» и «некрасивого», ни «удачного» и «неудачного» и т. д., и т. д. В мире слов и звуков для него нет правых и виноватых. Как пушкинский «дьяк в приказах поседелый», он

Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева...

с той лишь разницей, что и в конечном итоге он ни одного факта не осудит, а лишь *изучит*. Эта точка зрения, для

¹ См., впрочем, *Otto Jespersen. Progress in language with special reference to english*, 1909, где утверждается обратное преимущество анализа над синтезом.

современного лингвиста сама собою подразумевающаяся, столь чужда широкой публике, что я считаю нелишним иллюстрировать это объективное отношение на отдельных конкретных примерах, чтобы читатель видел, что оно возможно по отношению ко всякому языковому факту, хотя бы даже вызывающему глубокое негодование или гомерический смех у каждого интеллигента, в том числе и у лингвиста вне его исследовательских задач.

Прежде всего, по отношению ко всему народному языку (т. е., например, для русиста *ко всему* русскому языку, кроме его литературного наречия), у лингвиста, конечно, не может быть той наивной точки зрения специалиста, по которой все особенности народной речи объясняются *порчей* литературного языка. Ведь такое понимание приводит к взгляду, что народные наречия образуются из литературных, а этого в настоящее время не допустил бы в сущности и ни один профан, если бы он хоть на одну минуту задержался мыслью на предмете, по которому принято скользить. Слишком уж очевидно, что и до возникновения литератур существовали народы, что эти народы на каких-то языках говорили, и что литературы при своем зарождении могли воспользоваться только этими языками и ничем другим. Таким образом, современные, например, русские наречия и говоры есть для лингвиста только потомки более древних наречий и говоров русских, эти последние — потомки еще более древних и т. д., и т. д. вплоть до самого момента распада русского языка на наречия и говоры, а литературное наречие есть *лишь одно* из этих областных наречий, обособившееся в своей истории, испытывавшее благодаря своей «литературности» более *сложную* эволюцию, вобравшее в себя целый ряд чужеродных элементов и зажившее своей особой, в значительной мере, *неестественной*, с точки зрения общих законов развития языка, жизнью. Понятно, что народные наречия и говоры не только не могут игнорироваться при таких условиях лингвистом, а, напротив, они для него и составляют главный и наиболее захватывающий, наиболее раскрывающий тайны языковой жизни объект исследования, подобно тому как ботаник всегда предпочтет изучение луга изучению оранжереи. <...> Всевозможные индивидуальные дефекты речи, картавljenje, шепелявление и т. д. проливают иног-

да глубокий свет на нормальные фонетические процессы и привлекают к себе не меньший интерес лингвиста, чем эти последние. Совершенно случайные обмолвки открывают иной раз глубокие просветы в области физиологии и психологии речи. <...>

Такова объективная точка зрения на язык. Как видит читатель, она диаметрально противоположна обычной, житейско-школьной точке зрения, в силу которой мы над каждым языковым фактом творим или, по крайней мере, стремимся творить суд, суд «скорый» и зачастую «неправый» и «немилостивый». Мы или признаем за фактом «право гражданства», или присуждаем его сурово к вечному изгнанию из языковой сферы. Суд этот обычно бывает пристрастнейшим из всех судов на земле, так как судья руководится прежде всего собственными привычками и вкусами, а затем смутным воспоминанием о каких-то усвоенных на школьной скамье законах — «правилах». Но во всяком случае он убежден, что для *каждого* языкового случая такие правила существуют, что все, чего он не доучил в школе, имеется в полных списках, хранящихся в недоступных для профана местах, у жрецов грамматической науки, и что последние только составлением этих списков «живота и смерти» и занимаются. Так как это убеждение в существовании объективной, общеобязательной «*нормы*» для каждого языкового явления и необходимости этой нормы для самого существования языка составляет самую характерную черту этого обычного житейско-интеллигентского понимания языка, то мы и назовем эту точку зрения *нормативной*. И нашей ближайшей задачей будет исследовать происхождение этой точки зрения как вообще в гражданской жизни, так и в частности, и по преимуществу в школе.

Когда человеку, относившемуся к языку исключительно нормативно, случается столкнуться с подлинной наукой о языке и с ее объективной точкой зрения, когда он узнаёт, что объективных критериев для суждения о том, что «правильно» и что «неправильно», нет, что в языке «все течет», так что то, что вчера было «правильным», сегодня может оказаться «неправильным» и наоборот; когда он вообще начинает постигать язык, как самодовлеющую, живущую *по своим законам*, величественную стихию,— тогда у него легко может зародиться отрица-

тельное и даже ироническое отношение к своему прежнему «нормативизму» и к задачам нормирования языка. И чем наивнее была его прежняя вера в существование норм, тем бурнее может оказаться, как у всякого новообращенного, его новое отрицание их. От такого поверхностно-революционного отношения к нормативной точке зрения я решительнейшим образом должен предостеречь читателя. Ближайший анализ покажет, что для *литературного наречия* наивный нормативизм интеллигента-обывателя, при всех его курьезах и крайностях, есть *единственно жизненное* отношение, а что выведенный из объективной точки зрения квинтизм* был бы смертным приговором литературному наречию.

Прежде всего, при ближайшем рассмотрении оказывается, что среди многих отличий литературного наречия от естественных, народных наречий и языков как раз самым существенным, прямо, можно сказать, конститутивным, является именно это стремление говорящего так или иначе *нормировать* свою речь, говорить не просто, а *как-то*. В естественном состоянии языка говорящий не может задуматься над тем, *как* он говорит, потому что самой мысли о возможности различного говорения у него нет. Не поймут его — он перескажет, и даже обычно другими словами, но все это совершенно «биологически», без всякой задержки мысли на языковых фактах. Крестьянину, не бывшему в школе и избежавшему влияния школы, даже и в голову не может прийти, что речь его может быть «правильна» или «неправильна». Он говорит, как птица поет. Совсем другое дело человек, прикоснувшийся хоть на миг к изучению *литературного* наречия. Он моментально узнаёт, что есть речь «правильная» и «неправильная», «образцовая» и отступающая от «образца». И это связано с самым существованием и с самым зарождением у народа *литературного*, т. е. *образцового*, наречия. И зарождается-то оно, как «лучшее», как язык *преобладающего* в каком-либо отношении (не всегда литературном, а и политическом, религиозном, коммерческом и т. д.) племени и *преобладающих* в тех же отношениях классов, как язык, который *надо* для успеха на жизненном поприще усвоить, заменив им свой, доморощенный, житейский язык, т. е. как некая *норма*.

* Квинтизм — здесь: безучастное, пассивно-созерцательное отношение к языку (*прим. сост.*).

Существование языкового идеала у говорящих — вот главная отличительная черта литературного наречия с самого первого момента его возникновения, черта, в значительной мере *создающая* самое это наречие и поддерживающая его во все время его существования. С точки зрения естественного процесса речи, с точки зрения, так сказать, физиологии и биологии языка, эта черта совершенно неестественна. Если сравнить речь с другими привычными процессами нашего организма, например с ходьбой или дыханием, то «говорение» интеллигента будет так же отличаться от говорения крестьянина, как ходьба по канату от естественной ходьбы или как дыхание факира от обычного дыхания. Но эта-то неестественность и оказывается как раз *условием существования* литературного наречия.

Присмотримся поближе к основным чертам этого литературно-языкового идеала. Первой и самой замечательной чертой является его поразительный *консерватизм*, равного которому мы не встречаем ни в какой другой области духа. Из всех идеалов это единственный, который лежит целиком *позади*. «Правильной» всегда представляется речь старших поколений, предшествовавших литературных школ. Ссылка на традицию, на прецеденты, на «отцов» есть первый аргумент при попытке оправдать какую-либо шероховатость. Нормой признается то, что было, и отчасти то, что есть, но отнюдь не то, что будет. Сама по себе нормативность не связана с *неподвижностью* норм. В области права мы имеем пример норм, еще более принудительных и в то же время как раз подвижных, произвольно и планомерно изменяемых. Не то в языке. Здесь норма есть идеал, раз навсегда уже *достигнутый*, как бы отлитый на веки вечные. Это сообщает литературным наречиям особый характер *постоянства* по сравнению с естественными наречиями, мешает им эволюционировать в сколько-нибудь заметных размерах. Современный образованный итальянец легко читает Данте, современный же итальянский крестьянин вряд ли бы разобрался в языке родной деревни XIII века. Если в языке «все течет», то в литературном наречии это течение заграждено плотиной нормативного консерватизма до такой степени, что языковая река чуть ли не превращена в искусственное озеро. Не трудно видеть, что этот консерватизм не случаен, что он тесно связан опять-таки

с самым существованием литературного наречия и *литературы*. Разговорный язык может меняться в каком угодно темпе, и беды не произойдет, потому что мы говорим с отцами нашими и дедами, но не далее. Читая Пушкина, мы уже говорим с прадедом, а для англичанина, читающего Шекспира, и для итальянца, читающего Данте, это «пра» удесятерится. Если бы литературное наречие изменялось быстро, то каждое поколение могло бы пользоваться лишь литературой своей да предшествовавшего поколения, много двух. Но при таких условиях не было бы и самой литературы, так как литература всякого поколения создается *всей* предшествующей литературой. Если бы Чехов уже не понимал Пушкина, то, вероятно, не было бы и Чехова. Слишком тонкий слой почвы давал бы слишком слабое питание литературным росткам. Консерватизм литературного наречия, объединяя века и поколения, создает возможность единой мощной многовековой национальной литературы.

Второй особенностью литературно-языкового идеала является то, что этот идеал всегда — *местный*. Мы все стараемся говорить не только, как говорили наши отцы, но и как говорят в *Москве*, в частности, на сцене Малого и Художественного театров. Взоры и слух всех французов обращены на небольшую площадку сцены Comédie Française. Эта особенность, опять-таки связанная с самой сущностью и происхождением литературного наречия (наречия возобладавшего *племени*, занимавшего определенную территорию), оказывается в культурно-историческом отношении не менее важной. Если языковой консерватизм объединяет народ *во времени*, то равнение на языковой центр (Москва, Париж и т. д.) объединяет народ *территориально*. Основным свойством языковой эволюции признается в современном языкознании *дифференциация* языков, в силу которой всякий говор стремится обособиться от других говоров, распасться в свою очередь на говоры и сделаться наречием, всякое наречие стремится сделаться языком, всякий язык — целой языковой группой родственных языков и т. д. Словом, здесь эволюция совершенно аналогична эволюции животного и растительного мира и протекает целиком по дарвиновской схеме, по принципу «расхождения признаков»: разновидности делаются видами, виды родами и т. д. Так в естественном состоянии, но опять-таки не так при существовании лите-

ратурного наречия. Литературное наречие не только объединяет различные части народа, говорящие на разных наречиях, как междурайонное, понятное всюду, оно и непосредственно воздействует на местные наречия и говоры, нивелируя их своим влиянием и *задерживая процесс дифференциации*. А на такое непосредственное воздействие одна литературная, книжная традиция без *живого, звучащего* в национальном центре *образца* вряд ли оказалась бы способной. Говоря популярно, если бы рязанцы, туляки, калужане и т. д. не прислушивались бы к Москве, у них на месте нынешних наречий и говоров образовались бы вскорости свои рязанский, тульский, калужский и т. д. языки и национальности, и с русской национальностью было бы покончено.

Все, о чем я говорил до сих пор, касается той стороны литературно-языкового идеала, которая определяется понятиями «правильного» и «неправильного». Но ведь, кроме правильности, мы требуем от речи и многого другого. Из этого другого я коснусь здесь только того, чего мы *все* требуем от себя и от других, всегда и везде, требуем так же неумолимо, как правильности, именно — *ясности* речи. Наш собеседник может говорить плоско, худосочно, неизобразительно, растянуто, неточно даже — мы со всем этим будем мириться. Но, если он будет говорить *непонятно*, мы просто прекратим разговор. Мне могут возразить, что понятность требуется и в естественной речи, что она есть необходимое условие всякой речи как процесса социального, и что в этом отношении известного рода «норма» рисуется в уме даже дикаря: говорящий непонятно представится ему именно ненормальным. Все это так, и нормативность, в известном смысле, действительно входит в природу *всякого* говорения (см. ниже о социальной обусловленности речевого процесса). Но дело в том, что в естественном состоянии языка на нормативности этой никогда не приходится настаивать и даже не случается о ней подумать. В естественном состоянии все, кроме сумасшедших и сумасшедствующих (колдуны, шаманы, заклинатели), говорят нормально, т. е. понятно. Даже в нашей деревне говорят непонятно только придурковатые да те, которые хотят «свою образованность показать» (т. е. задеты уже литературным наречием). В литературном наречии, напротив, все всегда и везде говорят в той или иной степени *непонятно*. Это

может показаться парадоксом, но я прошу вспомнить любое собрание, любой доклад, любой спор. Разве не обращаются всегда к докладчику с просьбой *разъяснить* то или иное положение (причем вопросы обличают зачастую *полное* непонимание вопрошателей), разве не занимаемся мы в наших спорах преимущественно выяснением того, что мы *хотим сказать* или *хотели сказать*, и разве не расходимся в результате всех этих выяснений часто глубоко непонятыми и непонимающими? Я прошу вспомнить, сколько времени тратится в наших спорах на действительное выяснение истины и сколько на устранение словесных недоразумений, на уговор о значении слов (это все в лучшем случае, когда спорящие не просто твердят каждый свое, а стараются понять друг друга); прошу вспомнить, сколько времени тратится юристами на выяснение *смысла* того или иного свидетельского показания, того или иного закона; прошу вспомнить, сколько людей в науке, в поэзии, в философии, в религии заняты исключительно *толкованием* чужих мыслей, выраженных подчас самими творцами как будто бы классически ясно и просто, но тем не менее всегда создающих целый ряд толков, сект, течений, направлений и т. д.; прошу все это вспомнить — и читатель согласится со мной, что *затрудненное понимание* есть необходимый спутник литературно-культурного говорения. Дикари просто «говорят», а мы все время что-то «хотим» сказать. Мы, как слепцы, ищем с протянутыми руками друг друга в воздухе. Каждый *вполне* понимает только свою собственную речь. Это создает усиленный *спрос на ясность* в литературном наречии. Чем непонятнее культурные люди вынуждены говорить (почему — об этом ниже), тем понятнее они *хотят* говорить. После правильности ясность следует считать наиболее общепризнанной, наиболее интенсивно сознаваемой нами чертой нашего литературно-языкового идеала. Самая правильность даже оценивается нами так высоко, в сущности, как необходимое условие ясности.

Ряд предыдущих сопоставлений первобытных условий жизни языка с культурными, вероятно, привел уже читателя к догадке, что «непонятность» литературного наречия для самих говорящих на нем обуславливается общей *сложностью* культурной жизни. Но я все-таки проанализирую здесь, в чем состоит эта сложность с

чисто лингвистической точки зрения, чтобы показать, что повышенные, по сравнению с естественным состоянием, заботы о ясности, наравне с заботами о правильности, являются необходимым условием самого существования литературного наречья.

Еще Пауль² в свое время показал, что естественная речь (конечно, и *разговорно-литературная*, поскольку она одной стороной своей примыкает к естественной) по природе своей *эллиптична*, что мы всегда не *договариваем* своих мыслей, опуская из речи все, что дано *обстановкой* или *предыдущим опытом* разговаривающих. Так, за столом мы спрашиваем: «Вы кофе или чай?»; встретив знакомого, спрашиваем: «Ты куда?»; услышав надоевшую музыку, говорим: «Опять!»; предлагая воду, скажем: «Кипяченая, не беспокойтесь!»; видя, что перо у собеседника не пишет, скажем: «А вы карандашом!» и т. д. Такие случаи, когда подающий воду говорит: «Это кипячая вода», или следящий за письмом говорит: «А вы пишете карандашом», — принадлежат несомненно к более редким. Язык по природе *экономен* в средствах. Не трудно видеть, что эта экономия возможна только при двух, уже указанных выше, условиях: 1) общности обстановки (обеденный стол, вода, писанье) и 2) общности предыдущего опыта (музыка). Каждая из вышеприведенных фраз *сама по себе* совершенно непонятна и может иметь огромное количество значений в зависимости от этих двух факторов. Карандашом можно не только писать, им можно заткнуть отверстие, подрисовать брови, растолочь обратной стороной кристалл и т. д., и т. д. Фраза: «А вы карандашом!» может иметь соответственно этому множество значений. Точно так же вопрос: «Вы кофе или чай?» имеет в устах хозяйки одно значение, в устах встретившихся в магазине знакомых, делающих закупки, — другое, в устах лекторов по технологии, распределяющих между собой лекции о культурных растениях, — третье и т. д., и т. д. И все это мгновенно и без малейшего усилия понимается благодаря общей обстановке и общему опыту. Даже и наиболее недоговоренное из предыдущих примеров восклицанье: «Опять!», могущее иметь уже поистине бесконечное количество значений, на практике всегда будет понято наиболее точным обра-

² Paul. Prinzipien der Sprachgeschichte.

зом. Можно даже сказать, что точность и легкость понимания растут по мере уменьшения словесного состава фразы и увеличения ее бессловесной подпочвы. Чем меньше слов, тем меньше поводов для недоразумений. Это прямо приводит нас к причинам «непонятности» литературной речи. *Чем литературнее речь, тем меньшую роль играет в ней общая обстановка и общий предыдущий опыт говорящих.* Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить два полюса этой стороны речи: разговор крестьянина с женой об их хозяйстве и речь оратора на столичном митинге. Первые говорят *только* о том, что или перед их глазами, или переживается ими сообща в течение всей жизни ежедневно; второй говорит обо всем, *кроме* этого. Обстановка в его речи *совершенно* отсутствует, а предыдущий опыт распадается на индивидуальные опыты тысячи съехавшихся со всего света лиц, объединенных только общностью человеческой природы. Во сколько же раз ему *труднее* быть понятным, и во сколько раз больше он поэтому должен *стараться* говорить понятно! Всякий, кому случалось составлять уличное или газетное объявление о продаже пианино, прекрасно помнит, как он именно *составлял* его, а не просто писал, как он обдумывал каждое слово и как нередко он рвал черновики. Почему это? Потому, что *трудность языкового общения растет прямо пропорционально числу общающихся*, и там, где одна из общающихся сторон является неопределенным множеством, эта трудность достигает максимума. А во всякой *печатной* (т. е. собственно литературной) речи это именно так и есть: книги печатаются для неопределенного множества лиц. Понятно, что в противовес этой неизбежной затрудненности общения в культурном обществе должен был чисто биологически возникнуть *культ слова, культ умения говорить*, что для естественных условий звучит абсурдно. И если бы даже ни правописание наше, ни грамматика нашего литературного наречия сама по себе, ни словарь его не представляли никаких трудностей (предположение, конечно, фантастическое), мы все равно учились бы и учили бы родному языку в школе, потому что каждый из нас, как только он выйдет из пределов домашнего обихода, как только он заговорит о том, чего нет и не было ранее перед глазами его собеседника, должен *уметь говорить*, чтобы быть понятным.

Основная и наибольшая часть этого умения говорить дается в школе. Жизнь мало сравнительно прибавляет к приобретенному в школе. Отсюда понятна колоссальная государственно-культурная роль постановки родного языка в школе, именно, как предмета *нормативного*. Там, где дети усиленно *учатся говорить*, там взрослые не теряют бесконечного количества времени на отыскивание в словесном потоке собеседника основной мысли и не изливают сами таких потоков вокруг своих мыслей, там люди не оскорбляют друг друга на каждом шагу, потому что лучше понимают друг друга, там люди меньше судятся, потому что составляют более ясные контракты и т. д., и т. д. Умение говорить, это то смазочное масло, которое необходимо для всякой культурно-государственной машины и без которого она просто остановилась бы. Если для общения людей вообще необходим язык, то для культурного общения необходим как бы язык в квадрате, язык, культивируемый как особое искусство, язык *нормируемый*.

Такова роль нормативного изучения родного языка в школе. Может возникнуть вопрос: а как же наука с ее объективной точкой зрения? Ведь нормативная точка зрения не научна. Мирится ли все это с насаждением языковой науки в школе, за которое мы все теперь так ратуем?

Не только мирится одно с другим, но и требует одно другого. Противоречие этих двух точек зрения, как это мы тотчас увидим, только мнимое.

Прежде всего, беря вопрос во внешкольном, широком масштабе, мы должны признать, что противоречие факта и идеала, сущего и должного, свойственно вообще нашей мысли во всех областях ее. И наука с жизнью давным давно уже поделили между собой эти вещи: наука взяла себе «сущее», а жизнь — «должное»; там же, где «должное» с очевидностью основывается на «сущем», создались специальные, промежуточные между жизнью и наукой сферы — *прикладные, нормативные науки*... <...> Раздвоение наблюдения и действия во всех других областях, кроме языковой, так элементарно, что не требует даже размышлений. Напротив, в языке все так привыкли к действию и так далеки от наблюдения и изучения, что, внезапно распознав язык как предмет наблюдения и изучения, готовы забыть, что они непрестанные

творцы того же самого процесса, который наблюдают; и что эти две свои роли — роль наблюдателя и роль творца — каждый сам в себе должен разделить и в первой быть объективным, а во второй субъективным (насколько вообще допускает это такая объективная сфера, как язык). В начале статьи я все время подчеркивал, что лингвист как таковой не знает оценки языковых фактов, что для лингвиста в процессе изучения все факты хороши. Теперь, я надеюсь, мои подчеркивания ясны. Лингвист не как лингвист, а как участник языкового процесса, как член данной языковой общины, конечно, расценивает языковые факты наравне со всеми прочими образованными людьми, с той лишь разницей, что у него для этой расценки гораздо больше специальных знаний. И не только расценивает, но сплошь и рядом активной проповедью вмешивается в процесс языковой эволюции (хотя опять-таки подчеркиваю, что стихийность языковых явлений плохо мирится с индивидуальным вмешательством и придает ему всегда вид донкихотства). Точно так же и обыватель, поскольку он наблюдает язык и интересуется им (случай не частый, конечно), является частично лингвистом, а поскольку морщится от каких-нибудь «местов» или «делов» — языковым политиком, человеком, участвующим в нормировании речи.

Есть одна область общественных отношений, где это совмещение наблюдения и действия сказывается особенно ярко. Это — рынок. На рынке, как известно, каждый приравнивается к так называемой рыночной цене, стараясь купить не дороже, а продать не дешевле этой цены. Цену эту он воспринимает как нечто, объективно данное: «сегодня пуд картофеля стоит столько-то». Но в то же время известно, что это «стоит» складывается из соотношения спроса и предложения, в которых участвует каждый посетитель рынка. Приравниваясь к объективной «стоимости», он в то же время всяким актом купли-продажи и даже простым подходом к этому акту субъективно создает (пропорционально своей доле участия в общем обороте рынка) эту самую «стоимость». Совершенно то же и в языке. Все мы, чтобы нас понимали, должны равняться в нашей языковой деятельности по окружающим, должны говорить, как все. Непосредственное воздействие говорящей среды на каждого индивидуума ведет к тому же: каждый невольно подражает всем, окружающим его.

Но, с другой стороны, как создается это «как все»? Если каждый подражает каждому, то почему же в конце концов получается не нечто абсолютно однообразное, а, напротив, такое разнообразие, при котором нет 2-х людей, абсолютно одинаково говорящих? Все дело в том, что это «как все» создается сложением миллионов индивидуальных языков, в том числе и *моим*. Всякий говорящий одновременно и *подражает*, и *вызывает подражание*, и говорит «как все», и создает это «как все». Как нет на рынке ни одного покупателя (даже из приценивающихся или осведомляющихся только) и ни одного продавца, которые бы не участвовали в создании рыночной цены, так нет в языке ни одного говорящего, который бы не участвовал в создании самого языка. Разница между обывателем и литератором здесь только количественная, как между крупными покупателями-продавцами и мелкими, но не качественная. И стремление всякого говорящего повлиять на язык, по сути дела, было бы настолько же естественно и законно, как стремление купить на рынке дешевле, а продать дороже. <...>

М. ЯНАКНЕВ

Янакиев Мирослав (род. 1923) — современный болгарский языковед. Доцент Софийского университета.

Высшее образование М. Янакиев получил в Софийском университете, главным своим учителем он считает известного болгарского лингвиста, специалиста по исторической грамматике, профессора К. Мирчева. Научные интересы М. Янакиева лежат в основном в двух областях. Это, во-первых, изучение древнейшего периода болгарского языка по памятникам письменности: в соавторстве со С. Стояновым он является составителем «Хрестоматии по старославянскому языку» (1956, 4-е изд. — 1972), а ныне совместно с Н. В. Котовой работает над изданием памятника XII века — «Паремейника» Григоровича. Во-вторых, М. Янакиев последовательно разрабатывает проблемы лексики, стилистики и грамматики современного болгарского языка. Курс его лекций по стилистике, прочитанный в Софийском университете, лег в основу «Записок по стилистике болгарского языка» (1964); учащимся адресована его книга «Как редактировать собственное сочинение» (1975). М. Янакиев является также автором книги «Болгарское стиховедение», получившей высокую оценку специалистов. В своих исследованиях ученый широко использует математико-статистические методы обработки материала, он является одним из пионеров внедрения этих методов в болгарское языкознание. В настоящее время М. Янакиев готовит к изданию частотный словарь морфем болгарского языка, основанный на разговорных текстах общим объемом в 100 000 словоформ. Такого типа словари имеют, кроме собственно-научного, и большое прикладное значение: они служат